

Свобода или совесть?

I. Вступление

В своих долгих метаниях между сменявшимися друг друга «идеалами», а лучше сказать *идолами*, русская интеллигенция отдавала предпочтение двум: социалистическому и либеральному. Если можно сказать, что мысль бывает или глубокой, или (как было принято говорить на Руси) «смелой и честной», то всё «смелое и честное» кадило перед одним из двух этих алтарей. Если господство социализма в России достаточно показало пустоту и неспособность социалистической «идейности» к культурному творчеству, то у русского либерализма не было возможности проявить себя вплоть до девяностых годов XX века, когда социалистическое правительство пало, власть валялась буквально на дороге и была подобрана теми, кто, волею случая, оказался к ней ближе всего. Знаменем новых правителей оказался либерализм, понимаемый довольно буквально, в духе знаменитого изречения «Laissez passer, laissez faire!»¹ Итоги пятнадцатилетнего либерального правления оказались печальны: процветания, на которое надеялись проповедники «невидимой руки рынка», оно стране не принесло; дало волю всему дурному и ослабило даже ту слабую узду закона, какая была в социалистической России; об уважении к личности, столь дорогому *настоящим* либералам, никто даже и не вспоминал... А у нас, сохранивших умственную независимость мыслителей (если такие еще остались в «свободной России»), появилась возможность впервые задуматься о том, так ли безусловно благодетелен либеральный порядок, как думали на Руси в прежние годы.

В качестве беспристрастного, верного и красноречивого свидетеля я выбрал Джона Стюарта Милля. Если он и малоизвестен в современной России, а его классический очерк «О свободе» даже не издан полностью (единственный известный мне перевод обрывается несколько ранее середины), то его мысли можно смело назвать евангелием современного либерализма. Не знаю, прямо или опосредованно, но мысли Милля оказали сильнейшее воздействие на то учение, которое *сегодня* называет себя либеральным, и догматическое значение его писаний сравнимо только с догматическим значением писаний Маркса. Милль, как и Маркс, был *создателем утопии*, только утопии не социалистической, а либеральной; и в качестве утопического мыслителя получил огромную власть над умами. Фантастичность построений в сочетании с ложно научной методичностью приемов дает огромную силу, по меньшей мере, в наши дни, с их тяготением ко всему «научному». Даже от колдунов и вызывателей мертвых требует эта эпоха научности; и как Милль, так и Маркс своей наружной трезвостью и методичностью полностью удовлетворяют этому требованию...

Нужно сказать, правда, что понимание свободы, присущее Миллю, всё-таки богаче современного; в его мечтах еще находится место культуре – устраненной за ненужностью из списка целей и ценностей в наши дни. Милль в этом отношении, конечно же, непоследователен – но это непоследовательность, естественная для сына своего времени. Я думаю, что никто в ту эпоху не понимал очевидной для нас истины: что признавать Бога значит признавать неравноценность проявлений человеческой природы; признавать высшее и низшее; признавать *неравенство, иерархию и культуру*, а отвергать Его – значит отвергать всё вышеперечисленное. (Надо заметить, что Ницше был *наивный атеист*, или не атеист вовсе, т. к., отвергая одни ценности, тут же ставил на их место другие, что для истинного атеиста немыслимо, ибо если он во что-то верит, так это в условность, а вообще говоря – в отсутствие каких бы то ни было ценностей в мире.) В этом отношении Милль в самом деле непоследователен: он еще признаёт ценность высших культурных форм, хотя и выводит их из «свободного развития человеческой природы», которая – по истине и по христианскому ее пониманию – удобопревратна к добру и ко злу. Высшее развитие – не плод «свободного развития», напротив: плод внешнего принуждения или же внутренней борьбы. Необычен Милль, по сравнению с нынешней наивной эпохой, и в своем недоверии к демократии, которую он считает властью множества глупцов, ведущей к обезличиванию человека – и в качестве целебного противодействия которой и предлагает свое понимание свободы как предельного личного своеобразия. В этом он, конечно же, не является учителем нашей «свободолюбивой» эпохи. Однако многое другое в его писаниях с удивительной полнотой усвоено новейшей мыслью, и более того – служит основанием для людей дела, для вождей и повторяющей их мысли толпы.

¹ «Пропустите! Не мешайте!»

Я говорю в этой рукописи о *духовном смысле либерализма*. Правда, принято считать (и сами либералы полагают именно так), что смысл либеральной политики как раз в том, чтобы оставить всю эту сомнительную «духовность» предыдущим поколениям, а также тем, кто в своем развитии не ушел от них далеко. «Либерально», как известно, такое отношение к христианству, которое между ним и, скажем, «культом вуду» не видит большой разницы, и требует в лучшем случае равной *терпимости* для Евангелия и бесовщины. Однако отказ от веры тоже есть вера; отказ от ответа также ответ, пусть и своего рода; поэтому умолчания либерализма – в суждениях о духовных вопросах – сами по себе красноречивы. Меня удивляет только, что вопрос о духовном содержании либерального учения не задавался раньше, и никто – *кажется* – еще не разглядел угрозы, скрытой в этом учении.² Называя Пушкина «либеральным консерватором», о нем, конечно, хотели сказать только хорошее: подразумевалось, что и свободе, и традиции он был предан *равно*. Итак, в либерализме видели приверженность всяческой свободе, самоуправлению, и в этом смысле противопоставляли его всем учениям, утверждавшим, что человеческая свобода может и должна быть ограничена вмешательством со стороны. Для людей XIX и начала XX веков спор о свободе и несвободе, надо признать, был исключительно умственным, теоретическим спором. Ни «свобода», ни «рабство» в чистом виде европейцам прежних времен не были известны, и под этими понятиями спорящие стороны имели в виду или чуть большее, или чуть меньшее вмешательство в человеческую жизнь со стороны государства и Церкви. До начала XX века ни один европеец не видел государства *вполне порабощенного*, и до конца этого века – ни одного *вполне рассвобожденного*. Мы видели и то, и другое, и поэтому разговор о «свободе и несвободе» можем продолжить с новым знанием, которого не было не только у наших прадедов, но даже и у наших отцов.

Конечно же, то, что я в этих заметках называю «либерализмом» – довольно сложное и неоднородное целое. После того, как на Западе прекратили существование все остальные течения мысли, о западном человеке можно сказать, что он *либо мыслит либерально, либо не мыслит вовсе*. Поэтому все оставшиеся умственные силы оказались вложены в разработку *одной* коренной идеи: как устроиться человеку в условиях отсутствия (или непознаваемости) общеобязательных ценностей. В пределах этого учения есть даже некоторое разнообразие мнений – как оно было внутри старого христианского богословия; более того, при самом поверхностном знакомстве с историей «либеральной мысли» нельзя не удивиться этому разнообразию... Впрочем, всё это академические тонкости и оттенки, малознакомые массам, которые из всего либерального катехизиса всё полнее и полнее усваивают только одно положение: «всё дозволено, что не запрещено законом», причем границы этого «дозволенного законом» всё более расширяются, оставляя только две святыни: *государственные интересы и частную собственность*. «Дозволено всё, что не причиняет непосредственного вреда государству и чужому имуществу, а также жизни», так можно выразить общераспространенное понимание. К этому перечню в виде странного дописка присоединяется забота о «нравственности», смысл которой в обществе повседневного и повсеместного соблазна просто непонятен – если только не вспомнить Милля, который одним, «достигшим установленного законом возраста», предоставлял право соблазнять и быть соблазняемыми, других же, еще не созревших, предлагал освободить от искушений, чтобы потом, по достижении указанного возраста, бросить в море соблазна. Смысл этой противоестественной заботы о нравственности младенцев для меня совершенно неясен, потому что, во-первых, *сохранение ее в обществе вседозволенности никоим образом невозможно*, и, во-вторых, *эту нравственность юности предлагают хранить только для того, чтобы торжественно выбросить в день достижения совершеннолетия*. «Безнравственность есть привилегия зрелого возраста», только это и можно заключить, глядя на эти потуги.

Торжество либерализма показало, что существует какая-то противоположность *закона и совести*, о которой в XIX столетии проповедники либеральной идеи и не догадывались. «Государство не имеет права печься о душевном благе подданных», говорил Милль, в первую очередь потому, что никто на земле не может заранее сказать о благе, что оно благо, и о зле, что оно зло. Так полагал Милль. Однако изъятие категории душевного блага, а шире сказать – нравственной годности, духовной годности граждан, имело последствия, которых не ждали. Законодательство приучилось рассматривать граждан как резиновые мячики, летящие и отражающиеся друг от

² Кроме неузнанного в свое время Конст. Леонтьева. Впрочем, Леонтьев, при всей его исключительной прозорливости, не разглядел как следует Дж. Ст. Милля, и даже с сочувствием о нем отзывался. Я никоим образом не упрекаю Леонтьева за недостаток предвидения, т. к. предлагаемая Миллем программа *последнего и окончательного рассвобождения* в то время должна была выглядеть просто *игрой ума*. Никто из современников не поверил бы в возможность практического ее приложения.

друга и от поставленных им границ в соответствии с некоторыми законами, и внутренность этих «мячиков» начало рассматривать как пустую или, по меньшей мере, исследованию и упорядочению не подлежащую. Не стоит и говорить, что этот взгляд на человека оказался сугубо ложен и возмездие за эту ложь не заставило себя ждать. Люди *не* пустые шарики. Их движения определяются *не* внешними законами, но в первую очередь их *внутренним составом*, который, стараниями либерализма, и оказался выведен за рамки государственного ведения. Тот, кто писал:

Широки натуры русские:
Нашей правды идеал
Не влезает в формы узкие
Юридических начал, –

смеялся над слишком серьезным. Отношение закона и совести таково, что там, где имеет силу совесть, хромает закон, и там, где торжествует закон, совесть приведена к молчанию. *Либо* «правда», *либо* «юридические начала», *либо* некоторое промежуточное состояние между ними – там, где отношения между *ближними* определяются совестью, и только лишь обязанности по отношению к *дальним* – законом. Милль (а за ним весь ряд либеральных законодателей, вплоть до тех, которые уже на наших глазах узаконили однополые браки и позволили таким «супругам» брать на воспитание детей) полагал, что забота о душевном благе подданных *не может* иметь успеха просто потому, что никто на земле не знает о благе, что оно благо, до тех пор, пока этого не показал опыт. Это обожествление опыта естественно для эпохи, всё могущество которой было основано на покорении природы путем опыта и упражнения, но непростительно для мыслителя, который утверждает, будто стремится к истине – которая от *могущества* несколько отличается, да более того, к могуществу приводит весьма редко, разве что к нравственному. Стремясь внести наибольший порядок в государство, либеральный законодатель отказался от всякого порядка в человеческой душе.

Но выслушаем, что говорит Милль, и сделаем некоторые заметки на полях его очерка о свободе.